ПРЕСТОЛ

Николай Никанорович Пенкин был в своё время директором завода, достаточно крупного завода – три тысячи человек, обособленная охраняемая территория, своя пиковая котельная, автономная система энергоснабжения. Хотя и выпускал его завод среди прочего эмалированную посуду, но все знали, что основная его тема – «оборонка», и аббревиатуру названия завода если тут расшифровать, то нормальный человек всё равно ничего не поймёт.

Николай Никанорович пришел на завод инженером по распределению после окончания института и с завода же ушел и на пенсию. Правда, успел он за это время вырасти до директора, приватизировать свой завод и продать его. Притом по-хитрому довольно продал – остался Пенкин владельцем пиковой котельной, которая отапливала половину городского района, и хозяином одного из корпусов завода, который теперь сдавался в аренду различным коммерческим структурам.

Когда в институте учился Пенкин, был он худеньким и маленьким – на стадионе, где мы в футбол играли, мог за древком флага спрятаться. А стал директором – раздался в плечах, в лицо чего-то красного налилось, глаза выпученные, живот свой он грудью стал называть, на улице, если встретит знакомого – обязательно замечание сделает: «Ты почему без пальто?» или: «Скажи жене, чтобы она тебе ботинки почистила!» Даже неловко себя начинаешь чувствовать после общения с ним.

Когда же на пенсию Николай Никанорович вышел, то снова другим человеком стал. Хотя, конечно, не на пенсию он ушел, а просто после инсульта, догнавшего его, перестал заниматься делами всерьёз. Но те-

перь, если в сквере на скамеечке меня заметит, подойдет и спросит: «Разрешите поприсутствовать?» и после этого только сядет. Ну а для меня, несмотря на его директорство и пенсионерство, он всё равно просто Коля.

Был Пенкин человеком изначально деревенским, родом из Красного Майдана. Когда мы в институте учились, я к нему в гости, точнее с ним к его родителям, в этот Красный Майдан, раз десять ездил. Красивое и тогда было село, а теперь ещё и новый храм там недавно поставили – по местному телевидению показывали. Точнее, храм восстановили – так было сказано. И что-то меня кольнуло: была какая-то история, связанная с этим храмом в селе Красный Майдан, но не мог я тогда ухватить эту связь.

А потом припомнился мне весьма любопытный факт, и оформился он у меня в голове как недоразумение, только когда Пенкин в мае сообщил мне, что едет в свою деревню на престольный праздник, это на Николу летнего. Листал я на досуге как-то книжечку краеведческую про наши церковные древности и увидел там описание храма в селе Троица-Майдан, которое в советское время стало Красным Майданом и было тем самым родным селом Пенкина. Описывалась в той книжечке и история храма, и какие чудотворные и мироточивые образа в нем были, и как Василий Верещагин его купола расписывал, и какие замечательные господа на богомолье туда приезжали. А потому недоразумение заключалось в том, что праздник престольный у них должен был отмечаться в Троицу, а уж никак не на Николу.

Как всегда встретились мы с Николаем Никаноровичем в скверике. Погода весенняя стояла – май месяц.

– Должен я ехать к себе в деревню на Николу, – доложил мне Пенкин, – я у них там, в храме почетный гость. Храм новый, считай, на мои деньги поставлен. Старая-то церковь, помнишь, и без куполов, и без крыши стояла. Говорили, что во время войны немцы бомбу сбросили, она купол храма пробила, а не взорвалась. После войны её сапёры вывозили. Я сам того не помню, но старики рассказывали. А потом и купола обвалились, и стены крепко порушились. А может, и не нарочно немцы бросили бомбу ту, а она сама упала с немецкого самолёта. Говорили, что немцы боялись зениток городских и до автозавода часто не долетали, а запросто эти свои игрушки, бомбы в смысле, куда ни попадя скидывали – не домой же везти! Так вот, когда решили в обществе, что будет строиться новый храм или, как тогда говорили, восстанавливаться старый, ко мне подъехали активисты – дай, мол, денег. Ну, я дал миллион, а через какое-то время звонит по мобильнику владыка наш, митрополит в смысле, – дай ещё. Я как раз собирался купить себе домик в Испании – так я те деньги на храм-то и отдал. Подумал – зачем мне дом в Испании? Что я – оттуда, из Испании, что ли, на работу ездить буду? А так – в храме табличку бронзовую повесили, и там, на табличке, среди других, кто помогал в восстановлении, есть и моя фамилия. А как я умолял владыку нашего не освящать храм в честь Николы летнего: стыдно, говорю, – будут думать, что это я упросил тебя в свою честь так храм освятить. Это же архиерей, то есть владыка, наш принимает решение, в честь кого освящать тот или иной храм. А он мне отвечает, что решение уже принято и поменять ничего нельзя, а ты тут вообще ни при чем. В общем, увековечил я себя вот таким некрасивым образом, стыдно даже. И главное – денег совсем не жалко: у меня их тогда было как у дурака махорки, из всех карманов сыпались.

– Понял я. Помню я всю эту историю. Мы же с тобой в этом разбитом храме без крыши в студенческие годы, когда к родителям твоим ездили, портвейн «Крымский» выпивали перед тем, как на речку идти купаться. До сих пор помню, что портвейн тот хвоей кипарисовой или туевой отдавал, даже с души воротило. Помню стены кирпичные, порушенные, вверх зубьями своими торчащие. А на верху, на этих обломках кирпичей, берёзки росли. Росли ведь, Пенкин? Даже помнится – кое-где фрески сохранились, чуть заметно на стенах просвечивали. Так вот, в книжке-то пишут, что храм ваш расписывал сам Васнецов.

– Слышал я и про Васнецова, в детстве ещё. Знаешь, как фрески эти по сырой штукатурке писались? Штукатурки слой делался очень толстым, и темперная краска, которой писали по сырому, проникала вглубь и на три, и на пять, и на десять сантиметров. И если сейчас даже побелить стену такую, то роспись древняя всё равно проступит через какое-то время и будет видна, если сильно намочить штукатурку ту. И такое проявление древней живописи выдаётся иногда за чудо.

– Здорово! Так скажи мне, друг мой Пенкин, а когда храм-то освятили?

– Да когда построили, тогда же и освятили. Лет десять уже.

– Пенкин, а ты что, не помнишь, что ли, как твоя деревня раньше-то называлась?

– В смысле? Как?

– Троица-Майдан!

– Ну, так это знаю я. Это же советские революционеры, наверное, всё напереименовывали. Не понравилось им слово религиозное Троица – вот и заменили его.

– Понятно, что у тебя большевики всё в этой стране испортили. Так, а ты знал, что храм в вашей деревне был до революции освящен в честь Святой Троицы? И престольный праздник-то у тебя в деревне был всегда в Троицу, а вы что наделали?

Пенкин снял шляпу и глупо почесал затылок.

– Да нет! Вроде и без храма мужики всегда на Николу пили! Тогда я вообще не понял – с какого перепугу храм в честь Николы летнего освятили. Ты знаешь что – давай-ка сгоняй за книжкой домой к себе. Я тебя тут на скамеечке посижу, подожду. Ты же в этом доме живешь? – Пенкин кивнул на мой дом.

Знал он, где я живу, только что-то уж больно сильно вдруг заволновался.

Был Николай человеком начитанным, энциклопедически образованным и разными сведениями из любых отраслей знаний просто набитый. Доверял он только печатному слову, а к телевизору и интернету относился как к бреду пьянчуг подзаборных и отзывался обо всех дикторах телевизионных и комментаторах только непечатно.

Через двадцать минут мой друг Коля Пенкин, выпучив глаза, хотя глаза у него всегда навыкате чуть-чуть были, изучал историю своей деревни, с интересом листая мою книжку. Потом он закрыл её аккуратненько так и сказал:

– Дай мне её на неделю – мужикам в деревне покажу. Сохранность гарантирую – ты меня знаешь. Понимаешь, какое дело, – ни в чем нельзя довериться даже взрослому и умному человеку – всё надо самому или делать, или хотя бы контролировать. Ну как же так – такую глупость сотворить!

– Да! Вот покажешь ты мужикам своим эту книжку, и они будут уже два раза в году престол отмечать. Теперь, значит, можно будет ещё целую неделю лопать, да ещё в такое хорошее теплое время, в мае да в июне.

Появился Пенкин через пять дней. Позвонил мне по мобильнику:

– На месте?

– Гуляю в скверике.

– Сейчас я буду.

Я сидел на скамеечке в нашем парке – птички разные чирикают, черёмуха своими ароматами пьянит, женщины уже совсем по-летнему, чуть-чуть прикрытые чем-то лёгким, со своими собачками гуляют, между собой общаются, а собачки около лип и клёнов ноги задирают, свои дела обделывают.

Пенкин пришёл, не поздоровавшись, сел рядом и долго-долго молчал, минуты три. Я даже отодвинувшись, посмотрел на него с подозрением.

– Чего уставился? – как-то довольно грубо начал он. – Вот твоя книжка – извини, что задержал, и спасибо. Сейчас я тебе всё расскажу.

– Чего расскажешь?

– Всё расскажу.

И снова замолчал. А потом заговорил:

– Ты же моих родителей помнишь? Так вот, они в один год умерли, лет десять уже. Я их там, в деревне, и похоронил на сельском кладбище. А вот что с домом делать родительским, а он у них огромнейший был, бывший барский, с двумя печками да с камином, верандой, мансардой, – долго придумать не мог. Продать? Я человек не мнительный, но как только подумаю, что непонятные, а может, даже и неприятные мне люди будут по родительским комнатам шастать, да водку там пить, да богохульничать, да скабрезничать… Нет! А ещё тут вспомнились мне строчки из стихотворения какого-то: «Продали дом, словно предали друга…» Для себя оставить – я в то время о пенсии не думал ещё. А тогда надо ему, дому, полную ревизию и ремонт делать – иначе без надзора он весь рассыплется. Ну так вот – полную ревизию и ремонт по последнему слову современного дизайна и техники я сделал. А тут как раз нового батюшку в новый построенный храм назначили, отца Сергия. Молодой такой батюшка, лет тридцати пяти, но уже пузатый, как я. Жить ему с матушкой Натальей и четырьмя попятами пока что негде – четыре пацана у них, как горох – от пяти до двенадцати лет. Я ему и отдал под житьё, временно, пока он сам не построится, родительский дом. Но с условием, что, когда приезжаю в гости, одна комнатка остаётся за мной.

Ну и вот, приехал я туда к себе неделю назад. Пока мы чай с коньячком попивали с батюшкой, матушка мне комнатку приготовила, постель застелила, пыль вытерла, пол помыла. Комната моя замечательна тем, что выход у неё и в гостиную, и на веранду застеклённую, откуда можно спуститься в сад-огород. А там и груши, и вишни цветут – море белой пены. Дал я отцу Сергею твою книженцию и говорю:

– Что же вы натворили? Храм-то надо было освящать в честь Живоносной Троицы. А вы что?

– Я ведь лицо подневольное, Николай Никанорович, куда прикажет митрополит, туда и поеду служить, – отвечает мне мой отец Сергей, – я ведь в церкви-то не хозяин – а то многие считают, что священник при храме – и храм его. Скажет митрополит: служи в Троицком – поеду служить в Троицкое, скажет в Покровском – буду в Покровском. Наше дело

маленькое и подневольное. Хотя я вот не очень доволен новой политикой нашего владыки: разрушает он общину больно легко. Объясню: раньше приход вокруг священника организовывался, знали прихожане друг друга и проблемами делились друг с другом, и помощь, когда могли, оказывали. А сейчас – тасует нас митрополит, перебрасывает с прихода на приход, и прихожане к священнику привыкнуть не могут, не успевают, и мы понять не можем: надолго ли этот храм нам родным стал, вкладывать в него свои силы и душу или снова на новое место перебросят.

Так вот, любезный мой Николай Никанорович, в этом году Троица ранняя; вы же знаете, что Троица, её ещё Пятидесятницей зовут, не привязана к календарю, она к Пасхе привязана. Она и в мае бывает, и в конце июня может быть. В этом году Троица через три дня будет. Завтра Никола, а через три дня – Троица. Вот тогда вы и увидите то, что должны увидеть.

– А что я должен у вас тут увидеть? – спросил я.

– Вы же знаете, какой у нас здоровенный и противный овраг посреди села, обходить его – половину дня потратишь. Всё хотели дамбу там насыпать, чтобы машины напрямую могли проходить.

– Конечно, помню, – говорю, – я этот овраг с детства помню, и слава богу, что засыпали, я очень рад – видел я.

– Так вот, когда планировку и фундамент под новый храм делали, весь старый кирпич и обломки стен, что остались от старой порушенной церкви, экскаваторами и бульдозером сгребли в овраг и использовали при строительстве дамбы в качестве наполнителя. Вот там и случилось через некоторое время то, что местные старухи принимают за чудо.

– Что ещё за чудо? – спросил я.

– А это я вам сам покажу через три дня. А то сейчас вы не вполне увидите, а потом уж и совсем не интересно вам будет. Нет уж, потерпите. Хотя вы завтра всё равно к бабе Дуне пойдёте, а она всё вам и расскажет. Она ведь ух, какая противница этого нового храма. Считает, что надо было старый восстанавливать.

Баба Дуня – это моя последняя и единственная родственница в деревне. Она постарше меня, и какая там она мне седьмая вода на киселе – не знаю, но фамилия у неё тоже Пенкина. В гости я к ней не пошёл, завалился спать.

Утром в храм я сходил, лоб перекрестил, на всю службу оставаться не стал: ноги у меня болят от этого стояния. Вот католики сидят, евреи сидят, татары даже лежать могут, а мы стоять должны. Баба Дуня часто приговаривает, что сила православия в ногах. И интересно: стою – ноги болят, гуляю – не болят. А вишни всю деревню белой пеной накрыли, скоро и яблони раскроются. Вернулся я домой, вытащил из сарая сенокосилку, заправил её и впервые прошелся по свежей траве – люблю косилкой косить, да и литовкой тоже люблю, но с ней пока ещё рано.

На следующий день с утра наблюдал, как к Троице храм готовят: в роще молодых берёзок нарубили, весь пол травой и ветками застелили.

Потом со всеми четверыми пацанами-попятами пошел на речку – с удочками посидели, но ничего не клевало. Щука под корягой била, окунь в траве прибрежной гулял, а бель не клевала. Попята меня очень порадовали: все одинаковые, как на подбор, как грибы, и дружные такие. У них в рощице березовой, на берегу на деревцах бутылки полиэтиленовые прилажены для сока, да только ничего не набрали они – поздно уже для сока берёзового.

На Троицу, через день, я вновь в храм сходил: лоб перекрестил, но на всю службу сил у меня не хватило, ушел домой. А перед тем как домой пойти, спросил я у бабы Дуни:

– А что у вас тут за чудо новое на дамбе? Расскажи или покажи.

– Вот после службы я на дамбу пойду и тебя с собой захвачу. Я зайду за тобой.

Сижу я на диванчике у себя на веранде, журнал какой-то старый читаю – «Знание – сила», что ли, жду бабу Дуню. Дождался.

– Колька, Николай Никанорович, пошли за нами! – кричит.

Пришла баба Дуня не одна, а с ней ещё четыре тётки – правда, не такие старые, как она, а лет по пятьдесят. Нарядные все, в белых кофточках, в белых косынках – Троица праздник весёлый. Ты видел картину Рублёва «Троица»? Там три ангела уселись за столом под ёлкой и вино пьют. К оврагу молча мы шли. Подошли к дамбе и по тропинке стали спускаться.

– Мне что, с вами в овраг лезти? – спрашиваю я у бабы Дуни.

– Пойдем-пойдем, – отвечает она, – там наше чудо.

И тут откуда-то тучка, и дождик летний проливной с радугой, но быстро брызнул и прошёл. А мы как раз вниз спустились. И баба Дуня говорит мне:

– Смотри, – и указала на склон дамбы, крутой и поросший крапивой и полынью.

Большой кусок бывшей церковной стены размером с метр с сохранившейся штукатуркой лежал наклонно, вровень со склоном дамбы. И на этом намокшем куске стены старой церкви без всякой фантазии я разглядел ступню человека, босую ногу. Помнишь, в прошлый раз мы говорили про фрески по сырой штукатурке. Чья это была нога – Адама или апостола какого, – не знаю.

Со старухами говорить на эту тему, что их чудо совсем не чудо, не хотелось – я заторопился домой, но тут появился на склоне батюшка отец Сергий. Он торопливо спустился к нам в овраг, довольно спешно прочитал со старухами какую-то молитву и тоже засобирался домой.

Шли мы с ним молча – всё было понятно и очевидно.

Дома пили чай с плюшками сладкими, сахарной пудрой посыпанными.

– Батюшка, а ты зачем ходишь туда в овраг молиться? – спросил я, и была в моём вопросе доля иронии, которую прочувствовал отец Сергий.

– Хожу я туда потому, что должен пастырь быть с народом, – ответил он мне, лукаво прищурившись и тоже с иронией.

Вот так я съездил в родную деревню.

Потом мы сидели с Пенкиным молча – ну чего я мог ему сказать!

ПЧЕЛИНЫЙ ПАПА

Богоспасаемый монастырь наш Преображенский стоит прямо на берегу Волги, в полугоре, так, что все и волжские, и заволжские просторы открыты и братии, и богомольцам заезжим: любоваться ими – не налюбоваться. Да и сам монастырь не прост: по его камням можно историю страны рассказать.

И одна из самых старейших русских летописей была, по преданиям, здесь написана, и кто-то из важных деятелей кружка ревнителей благочестия начинал отсюда свой тернистый духовный путь в семнадцатом веке, и москвичи, скрываясь от Наполеона, Преображенский монастырь выбрали для своих молитв и скорбей. Поговаривают, хотя это и сплетни, что и царь Иван Шестой лет десять содержался, спрятанный тут, под глухим надзором в подземной каменной камере, прежде чем перевели его в Шлиссельбург, где уже и закололи.

В школьные годы мы в футбол играли прямо на территории монастыря полуразрушенного да заброшенного, а в келейном корпусе располагались реставрационные мастерские. И здесь же, на территории бывшего монастыря, тогда, пятьдесят лет назад, стояли пчелиные ульи. Их было немного – штук десять или пятнадцать, и я припоминаю их. Хотя чего их вспоминать, если моя бабушка каждый год брала мед в слободе, небольшой деревеньке, примыкавшей к монастырю и состоявшей из частных маленьких деревянных скособоченных избушек. И пасечник, хозяин тех ульев, жил в слободе.

Давно это было.

В последние годы, уже в новой России всё поменялось: отношение властей к церкви стало благостным и покровительственным, а народ стал понимать, что священники такие же простые люди: могут и выпить, могут и набедокурить. Хотя большинство людей моего поколения плохо представляют детали церковной жизни – невоцерковлённые мы! А вот в монастырь наш Преображенский бывает, что хожу я гулять, как в парк, – уж больно хорошо и красиво новый настоятель, игумен то есть, обустроил всё в нем: и клумбы с цветами насадил, и липы раскидистые столетние сохранил, и скамеечки чугунные, и дорожки плиточкой вымощенные. А на монахов посмотреть любопытно: то двое молодых прогуливаются вдоль стены и разговаривают о чём-то об умном, а то другой, уже старенький, согнувшись от усердия и шаркая большими и тяжелыми ботинками, спешит-бежит куда-то.

Только редко хожу.

А вот соседка моя по подъезду Елена Ивановна часто туда ходит и много чего интересного мне рассказывает, пока мы с ней по утрам за молоком деревенским стоим на углу, ждём, когда подвезут. Елена Ивановна похожа на шарик или на большую девчоночью красивую куклу: твёрдая, накрашенная и всегда улыбается, даже когда сердитая. Она, по-моему, со мною заигрывает: обычно со всеми чуть ли не шепотом говорит, а когда я появляюсь, начинает повизгивать.

Она хотя женщина и без высшего образования, но много любопытного знает о людях нашего города. Вот недавно от неё узнал, что Бубликов и Шапиро – родственники. Ну ладно Шапиро, ему сам бог велел быть чьим-нибудь родственником, а уж вот про Бубликова никак бы не подумал – ему-то зачем! Так ведь и я могу стать чьим-нибудь родственником благодаря Елене Ивановне.

И вот как-то раз мы с ней вдвоём на углу оказались. Стоим с бидончиками, ждём бочку с молоком, и говорит она мне:

– А вот, разлюбезный мой соседушка, скажите на милость – зачем вы в монастырь ходите? Видела я вас там пару месяцев назад, в мае или уже в июне, сидели вы там на скамеечке. У вас что – там духовник ваш служит?

– Да нет. Какой такой духовник? – отвечаю я.

– Ну, священник, к которому вы на исповедь или просто поделиться своими проблемами ходите.

– Нет, Елена Ивановна, у меня никакого духовника, и проблемами своими я ни с кем не делюсь.

– Жаль! А вы не знаете там, в монастыре, монаха старого-престарого такого, Онуфрием зовут.

– Нет, – говорю, – первый раз слышу.

– Жаль, – хитро почему-то поглядывая на меня и покачивая головой, говорит соседка, – а я хотела у вас о нем подрасспросить. Он ведь очень высокого градуса священник.

– В смысле?

– Ну так если вы его не знаете, что я буду вам навязываться со своей болтовней? Подумаете, что я пустобрёха какая!

А самой, чувствую, хочется со мной поболтать – что молча-то стоять. Решил я ей подсобить и говорю:

– Так что вы говорили про Онуфрия-то этого?

– А то, что он к нам в монастырь с Севера откуда-то приехал. Как бы на пенсию заслуженную. Там, на Севере, он был игуменом, то есть настоятелем какого-то большого-пребольшого монастыря, и даже звание архимандрита носил. Это очень высокое звание церковное – почти генеральское, если на светские размеры переводить. А лет десять назад почувствовал он, что стареть стал, что трудно ему стало монастырским хозяйством заниматься, – написал он заявление на имя, на чье следует, что, мол, прошу освободить меня от хлопот, силы и нервы уже не те, что требуются для серьёзной работы. И отпустили его с должности игумена, а вот звание архимандрита сохранили или нет – не знаю. А любопытно было бы узнать. Потому и спросила я у вас. Говорят, к нему за советами житейскими ездят люди чуть не со всей страны, как к старцам когда-то ездили.

– Нет, Елена Ивановна, не помогу я вам в таком деле, не знаю я никого в монастыре этом Преображенском.

– Жаль! А любопытно всё же. Говорят, что монах этот, Онуфрий, родом наш, и не просто наш, а прямо из слободы этой, что за монастырём стоит. Он в детстве отсюда уехал, до войны, когда гонения на священников были. Мамка его увезла, попадья местная, а отца его, священника, забрали в ОГПУ, и сгинул он. Лет десять назад Онуфрий сюда перебрался, больной весь был, в чём душа держалась – непонятно. Братия монастырская его выходила, они к нему уважительно относятся. А так как бездельничать в монастыре нельзя, то Онуфрий с благословения игумена нашего завел пасеку, вот за пчёлками и ухаживает. Да так хорошо у него стало получаться, что про его удачи пчеловодческие рассказы рассказывают. Не слышали?

Я покачал головой.

– Я к нему после престола нашего за мёдом пойду, он мне всегда баночку маленькую даёт. Преображение-то у нас девятнадцатого?

– Да. Шестое августа по-старому, Преображение Господне, – процитировал я, решив образованность показать свою.

– Да-да – девятнадцатого. Батюшка Онуфрий всегда в Медовый Спас начинает мёд качать. Значит, после престола можно будет идти. А знаете – пчёлы очень интересные насекомые, или животные – не знаю, как правильно сказать. Вот батюшка Онуфрий с ними разговаривает, они его слушаются, прямо так чудно. Вы как-нибудь с ним познакомьтесь. Когда рассказывают про дельфинов, которые людей спасают, или про медведицу, которая своего медвежонка к людям привела за медицинской помощью, чтобы занозу вытащили у её малыша из лапы, я понимаю – большие умные животные. А эти пушистые полосатые маленькие комочки, оказывается, такие же умные.

– Да, я тоже про такое слышал, – решил я немного поддержать разговор своими энциклопедическими знаниями, – вообще улей и пчелиный рой устроены очень интересно: там есть матка-царица, трутни, которых рабочие пчёлы к зиме выгоняют как ненужных нахлебников, и много ещё…

Но тут пришла цистерна с деревенским молоком.

Всё же любопытный я человек, и на следующий день после разговора с Еленой Ивановной я пешочком направился в наш монастырь – решил познакомиться с отцом Онуфрием, заинтриговала меня соседка своим рассказом.

Лето. Начало августа. К монастырю можно и на машине подъехать, а можно от автобусной остановки дойти – минут двадцать пешком. Дорога к монастырю от трассы шла через луговину – стрижи верещат, кузнечики стрекочут, бабочки порхают.

Опоздал.

В главном храме, храме Преображения Господня, шло отпевание. Я ещё на подходе к стенам монастыря обратил внимание на изрядное количество машин с чужими номерами: и московские, и новгородские, и ярославские. Две тётки-пьянчужки, под видом нищенок собирающие мелочь-подаяние перед монастырскими воротами, рассказали мне про беду.

Скончался отец Онуфрий третьего дня. Отпевать его по высшему разряду, как отпевают только иерархов церкви, приехал сам митрополит. Служба идет уже третий час, и сколько продлится, не знает никто, – долго!

Храм Преображения Господня не очень старинный, где-то начала девятнадцатого века, но очень большой. Я лоб перекрестил на ступенях его и не без труда через притвор протиснулся в зал, а там оказалось вполне просторно, и прохладно, и благостно. Большая домовина стояла на специальном постаменте, покрытом красным ковриком, занимая пространство, и покойного больно-то и не было там видно.

Священник, служивший панихиду, солидный такой, весь в белом, что-то бубнил-бубнил себе под нос; потом хор мужской – запели они красиво так, высокими голосами. Я даже подумал, что запись через динамики пустили, потому что уж больно ладно получалось у них. Ещё обратил внимание, что очень контрастно одеты присутствовавшие: священники, службу ведущие, – все в белом, а остальная братия – в чёрном. И женщины, монашки, приехавшие, видимо, из соседнего монастыря на это печальное событие, тоже все в чёрном. А простой народ – кто в чём, но заметно, что траурно одеты были. Потом этот солидный священник вышел из алтаря через царские врата с дикирием и трикирием в руках,

ещё их, эти большие свечи, называют осеняльниками, и поставил их рядом с усопшим и дальше стал снова что-то читать.

И тут я увидел, что стволы свечей этих, и без того толстых, буквально облеплены, да ещё и в несколько слоёв, пчелами. И они шевелятся. Сначала я подумал, что это оттого, что свечи из воска, а потом, когда я огляделся, до меня дошло. Да-да! Во всем храме стоял запах мёда, а не ладана, как всегда. И во всём храме этих пчёл видимо-невидимо, тысячи, если не миллионы. Потому, думаю, и народ-то весь на улице стоит. Чувствую, что мне на щёку пчела села, но не жалит. Смотрю – на руку ещё одна села, крылышки провентилировала и снова поднялась. А гул пчелиный стоит такой своеобразный: не угрожающий, а печальный.

Я не стал дожидаться конца отпевания и вышел на улицу – что я там буду стоять, если ничего не понимаю в происходящем. Солнышко светит, макушка лета; и только собрался я уходить – цоп, чувствую, что кто-то меня попридержал. Смотрю – незнакомая дамочка, а может, даже и знакомились когда-то, только не помню я её, интеллигентная такая с виду, и говорит она мне:

– А вы не торопитесь – давайте до конца проводим отца Онуфрия. Вы ведь к нему приходили?

– Да, – говорю, – к нему.

– Его похоронят на старом погосте около храма, тут, сразу за алтарем. Это первые похороны такие почетные, что ли, за последнее время.

Осмелел я и спрашиваю у незнакомки:

– А кто это старший тут, который службу ведёт?

– Это епископ наш, владыко…

Да не успела она мне ничего толком ни сказать, ни описать, потому что уставилась вдруг на крыльцо храма и на вход. А оттуда роем, а точнее спиралью заворачиваясь, полетели пчелы. Вылетели – и встали тучей над нами, зеваками, пришедшими на прощание с батюшкой Онуфрием. Стоят облаком над нами и гудят – но не угрожающе. Тут я и понял, что главные действующие лица в этом обряде прощания – это как раз пчелы. Уж больно они серьёзную роль во всём этом играют. Не к месту подумалось мне, что вот захотят они и – вмиг все это мероприятие прикроют. Их миллионы тут.

Потом пошло всё своим чередом – и гроб вынесли, и храм мы все вместе обошли, и могилка там, за алтарём, уже выкопана была. Каким-то образом меня занесло прямо к могилке раскопанной, и оказался я рядом с владыкой, который службу отпевания вёл. Ему продолжать надо, а пчёлы густо-густо облепили гроб с покойным старцем. Издали – прямо дрожащая, шевелящаяся масса какая-то. И слышу я, как вполголоса, шепотом почти, владыко говорит:

– Кыш, божьи твари! Прощайтесь скорее с папкой своим и летите домой. Работать вам пора уже!

И невероятным совершенно образом пчёлы послушались его – с жужжанием поднялись они над могилкой и застыли тучей густой над провожающими. Потом загудели они, стоя на месте, видимо, вот так же они и ульи свои вентилируют, и быстро-быстро, снова свернувшись в большую спираль, взвились над липами вековыми и полетели в одну им ведомую сторону.

Вот, пожалуй, и всё – с батюшкой Онуфрием познакомиться мне так и не удалось, а вот чудом своим пчелиным он меня сумел удивить.